

АНДРОНИК РОМАНОВ



1 **надцать**

Андроник Романов

1надцать

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22572053
Романов А. 1надцать. – : Москва; 2017
ISBN 978-5-91627-186-7

Аннотация

«1надцать» (Одиннадцать) – одиннадцать новых рассказов Андроника Романова, собранные под одной обложкой, объединенные темой одиночества. Рассказы «Совпадение», «Нигма», «Альфа и Омега» были опубликованы в журнале «Новый Мир», «Глубина» вошел в сборник «Крым, я люблю тебя» издательства «Эксмо», «Альфа и Омега» – в сборник «Москва и Петербург – как мы их не знаем» издательства фонда «Русский текст», «Поверхность» – в сборник «Трава была зеленее, или Писатели о своем детстве» издательства «Эксмо». Рассказ «Нигма» стал финалистом Литературной премии «Русского Гулливера» в номинации «Короткая проза». Андроник Романов – поэт, прозаик, драматург. Автор трех книг и многочисленных журнальных публикаций. Произведения переведены на английский, французский, арабский языки.

Содержание

Поверхность	5
Совпадение	16
Нигма	24
Иллюзия тишины	37
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Андроник Романов

Инадцать

Сборник рассказов

© Андроник Романов – текст, иллюстрации. 2017

© Света Дорошева – рисунок обложки. 2017

Проза Андроника Романова амбивалентна – притягательна и для реалиста, и для эстета, автор её душевно свеж и опытен, чтение этой прозы и замедляет, и ускоряет время. Читая, окунаешься в жизнь и, увлечённый, уже только боковым зрением замечаешь находки – неожиданные смены субъектных ракурсов, непредсказуемые и сильные финалы, намеренно нераскрытые бутоны микросюжетов на фоне центрального сюжета, растекающегося по всему тексту и подтексту.

Елена Зейферт

Поверхность



Теперь, устроившись на поверхности, я довольствуюсь двумя координатами, определяющими мое местоположение, – широтой и долготой. Не меняет ситуации даже то, что арендуемую мной двушку отделяет от густо засеянного бурым реагентом асфальта целых двадцать два метра. Пти-

цы летают выше. Я забыл, где в это время года находится Орион, и как называется крайняя правая звезда в его поясе. Небо здесь напоминает потолок, покрашенный плохо размешанной смесью белой и серой красок, между мазками которой иногда мелькают голубые пятна, но их тут же замазывает осадками. Наверное, именно поэтому начало мое, случившееся значительно восточнее и немного южнее, ассоциируется у меня с третьей, напрочь забытой здесь, координатой видимого пространства: высоким, чистым, уходящим в ультрафиолет – другим – небом.

Там был дом с яблоневым садом, двором с высокой калиткой и зелеными воротами, большой – под грузовую машину – гараж, мамины гладиолусы под окнами веранды, в глубине сада, пугавшая нас вечерами, дыра в земле, запечатанная бетонной плитой – по слухам, колодец, в котором утопилась бывшая хозяйка нашего дома. У высокого деревянного забора, отделявшего сад от соседней улицы, стоял огромный поливочный бак, сваренный из толстых почерневших листов металла, пересохшее дно которого было завалено прошлогодней листвой и ветками, оставшимися после стрижки деревьев. Дом, из которого я уезжал слоняться по общагам и съемным квартирам и куда возвращался не часто, но регулярно, вплоть до самой смерти родителей.

За час до прибытия я выходил в прокуренный тамбур встречать узнаваемый контур многоэтажек Майкудука, тянувшегося вдоль горизонта грязной неровной полоской, ра-

довался унылому пост-апу Сортировки, мозаичному космо-навту на торце девятиэтажного магазина «Юбилейный», как радуются старым знакомым, которых никогда не любишь за их достоинства, но всегда – за недостатки, за пережитое из-за них, каким бы тяжелым оно ни было.

* * *

В детстве мне нравилось забираться на крыши. Особенно на одну из них – около художественной школы. Я садился на самый край шумящей пирамидальными тополями пропасти, дном которой был чужой двор с мамашами, выгуливающими своих отпрысков, бабками у подъезда, девчонками, прыгающими вокруг невидимой с высоты резинки, и чувствовал настоящее подростковое счастье. Внизу не было ничего интересного. Все начиналось именно здесь – на высоте.

В десять лет я решил, что непременно пойду в авиацию и завел специальную тетрадь – для самолетов. Брал в читальном зале нашей маленькой уютной детской библиотеки подшивку «Техники молодежи» – там публиковали иллюстрированные описания истребителей и бомбардировщиков Второй мировой войны – открывал свежий номер на нужной странице, накладывал на изображение кальку и аккуратно обводил рисунок или фотографию самолета, стараясь при этом не сильно давить на карандаш, чтобы не оставить следов на оригинале. Очень нравились мессершмитты, но об

этом никому нельзя было говорить. Ну, разве что, Серёге Терехову – другу и однокласснику.

Летом, поздней весной и ранней осенью мы ходили за широкую пустующую дорогу, отделяющую восточную окраину нашего одноэтажного района от огороженной колючей проволокой авиабазы. Покачиваясь в струящемся от жары воздухе, она неторопливо дрейфовала в открытой степи, взъерошенная разнообразным множеством антенн над казенными корпусами и гофрированными металлическими ангарами, и завораживала нас зачехленными военными вертолетами, самыми впечатляющими из которых были, конечно же, Ми-8. Мы устраивались на горячих бетонных плитах у самой колючки, под гул взлетающих самолётов заводили разговоры об орбитальных станциях и полетах на Марс в далеком восемьдесят пятом, листали принесенную Серёгой «Шесть дней на Луне-1». И, кажется, именно Серёга первым заговорил о гирокоптерах...

* * *

В мае восемьдесят второго во дворе нашего старого дома на улице Космонавтов появилась пахнувшая новеньким салоном одиннадцатая модель «жигулей». Отцу понадобился гараж, и он довольно быстро, за какой-нибудь месяц, нашел и купил новый дом с еще большим двором, гаражом и яблоневым садом. Мы переехали на другой конец города. Нас с

моим младшим братом перевели в другую школу, и посещения авиабазы с походами на самолетное кладбище остались в прошлом.

Июль того года выдался жарким и унылым, как это бывает в разгар каникул, когда уже хочется поскорее в школу, потому что никаких таких поездок к морю не намечается, друзьями на новом месте ни я, ни брат не обзавелись, а дома было все одно и то же. И вот как-то в один из ленивых полдней, разглядывая стопку досок, обнаруженных мной за поливочным баком у забора, я надумал соорудить гирокоптер. Не модель какую-нибудь, а самый настоящий, всамделишный автожир – это еще одно название гирокоптера – такой, чтобы летал.

Конструкция аппарата должна была быть простой, как сама идея использовать свободно вращающийся – вертолетного типа – винт в качестве несущей плоскости. Жесткая рама с шасси в основании, на которой закреплено легкое кресло пилота, пилон с ротором – так правильно называется винт – и сзади, в районе хвоста, киль с рулем поворота. Никаких двигателей. Попробовать взлететь на буксире, а потом – если пойдет – подумать о толкающем пропеллере на борту.

Первым делом я отправился в библиотеку и прочитал все, что нашёл о гиропланах – это еще одно название гирокоптеров. К сожалению, только популярные статьи с плохими фотографиями и рисунками, не дающими никакого представления о конструкции изображенных аппаратов. Пришлось

додумывать самому. Неделю я изводил «кохиноры» и листы ватмана, купленные мне родителями для художественной школы, искал подходящие материалы, совершая вечерами набеги на пропахшую мазутом и машинным маслом свалку соседней автобазы, сходил пару раз на далекое самолетное кладбище за аэропортом. К концу июля у меня были чертежи, материалы и инструменты. Я легко договорился со знакомым обладателем монстроподобного мотоцикла об участии в испытаниях. Он должен был тянуть гироплан на длинной альпинистской веревке, разогнаться до скорости, позволяющей мне взлететь, буксировать аппарат некоторое время для набора высоты, пока я не отстегну буксир специальным рычагом. Дальше я собирался плавно, за счет авторыотации, планировать и приземлиться там, куда сумею долететь.

Я обустроил мастерскую в саду, под открытым небом. Сколотил деревянный настил, накрыл им поливочный бак, соорудив, таким образом, подобие верстака, сделал крепления для заготовки и начал аккуратно работать рубанком. Лопасти ротора я решил сделать деревянными. Самым подходящим из доступных твердых пород оказался ясень. Дело шло медленно. Даже очень. Ясень плохо поддавался обработке, но это его природное упрямство шло даже на пользу – я вынужденно работал аккуратно, кропотливо стачивая лишнее разными инструментами, о существовании которых еще недавно не подозревал, постоянно делал замеры, обнажая

спрятанную внутри доски точеную лопасть ротора, должно-го поднять мой летательный аппарат в небо.

Домашние относились к моему увлечению снисходительно. Отец несколько раз приходил посмотреть, как я столярничаю, улыбался, говорил что-то одобрителное. Не то, чтобы я был до этого белоручкой – нет, свидетелями тому были два телескопа, собранные мной из удивительно не подходящих для этого дела компонентов – но чтобы так, с утра до позднего вечера... Просто я перестал быть мечтателем в классическом сибаритском понимании этого аморфного слова, моя мечта стала целью. А это уже было совсем другое дело.

Я работал весь август. Выходил в сад затемно, шелестя мокрой от росы травой. Первым делом раскладывал на земле готовые крупные части конструкции, чтобы видеть, так сказать, картину в целом. Потом все извлеченное и разложенное собирал и аккуратно складывал обратно – на дно бака, накрывал брезентом, устанавливал на бак помост с верстаком и продолжал работу.

Дольше всего пришлось возиться с ротором. Ось, балку, раскосы и прочие несущие части скрепил болтами, стянул для надежности в некоторых, как мне казалось, особенно подверженных нагрузке, местах стальной проволокой. Сиденье с прямоугольной фанерной спинкой и самодельными ремнями безопасности напоминало табурет. Но это ему не мешало быть полноценным креслом пилота.

Пока я возился с деталями, моя затея выглядела вполне себе безобидной. Все изменилось, когда в самом конце августа я собрал готовый остов гироплана. Шутки за обеденным столом прекратились. В нашем саду стоял летательный аппарат. Да, ему не хватало киля, стабилизатора, шасси и прочих деталей, покоившихся до поры в разной степени готовности на дне бака под брезентом. Но для отца это было не важно. Для него – в нашем саду стояла конструкция, на которой собирался лететь его сын.

* * *

У них была существенная разница в возрасте, но об этом мало кто догадывался – высокий, темноволосый, с правильными чертами лица, отец и выглядел безупречно и умел себя подать. Мама, во всем его поддерживавшая, была при этом единственным на моей памяти человеком, способным сказать ему «нет». Они оба были сильными людьми, странным образом сошедшимися, прожившими долгую нескучную жизнь, умудрившимися, не смотря ни на что, остаться вместе до самого конца.

Живость их отношений вдохновляла. Мама рассказывала, как, прожив в Актогае год, они сильно поругались, и она уехала в Балхаш, к матери. Бабушка моего отца не любила. Чтобы отрезать насовсем, мама вышла по-быстрому замуж за друга детства по фамилии Матвеев. Отец узнал и поехал

следом, но появляться на пороге не спешил. О его приезде стало известно деду, потом, разумеется, бабушке, бабушка предупредила зятя – чтобы «Аня ни в коем случае ничего не узнала». Но он, простая душа, проболтался, и тем же вечером во время прогулки маме «понадобилось зайти к подруге на пять минут». Матвеев остался у подъезда.

Мама знала, у кого обычно останавливается отец. Разговор был коротким. Ранним утром следующего дня, пока домашние спали, она тихо собралась, вышла из дома и отправилась на автостанцию, где он ее уже ждал. Через год у них родился я, а через четыре – мой брат.

В детстве было столько любви, понимания и заботы, что теперь это выглядит компенсацией за все мое последующее одиночество. Я знаю – благодаря им – что все эти неудобные в произнесении вслух банальности, как-то: любовь, верность и счастье, прости Господи, – и возможны, и достижимы. И, наверное, обязательным условием для этого нужна готовность отказаться ради любимой или любимого от всего, что свойственно человеку разумному.

* * *

Первого сентября я пошел в восьмой класс в новую школу, будучи при этом без пяти минут пилотом персонального гироплана. И это было ох как круто. Оставалось всего лишь собрать управление, закрепить шасси и навесить ротор.

Мне снилось, как я летаю. Сажусь в неудобное кресло, щелкаю – я слышал во сне этот особенный звук – карабином ремня безопасности. Гироплан разгоняется. Ротор, ухая, хлопает воздухом над головой. Хлопки все быстрее и быстрее, и громче, и вот уже слились в сплошное гудение. Потянуло вверх и...

Когда я вернулся из школы, гироплана на месте не оказалось. Это было второго или третьего или четвертого сентября. Не помню. Уходя утром, я несколько раз оглянулся – пилон был виден за высоким забором. Теперь его не было. Не заходя домой, я пошел в сад по узкой асфальтовой дорожке между домом и разросшейся травой, чтобы не испачкать в зелени новенькие школьные брюки. До меня не сразу дошло, что аккуратно сложенная у забора стопка свежепорубленных балок, реек и блоков – это мой гирокоптер.

* * *

Я думаю: он меня спас. Мой отец. Скорее всего, я ошибся в расчетах, и он это увидел, а спорить и доказывать он не умел или не хотел. Не знаю. Может быть, просто испугался за меня. У него была какая-то нечеловеческая интуиция. Так или иначе, в некотором смысле благодаря ему, я вынужденно живу здесь, на поверхности, редко взбираясь взглядом в теперь уже пасмурное небо. Интерес к самолетам сменился интересом к людям. Все к лучшему. Наверное...

Совпадение



Яркое крымское солнце, бедная моя маленькая Лиза с ее неумелой игрой в женщину, напряженным невкусным сексом и чужеродной архитектурой мозга... Стоит на симферопольском перроне пятнадцатилетней давности и кричит, обращаясь ко мне:

– Хорошо, да? Я же тебе говорила! А ты не хотел ехать!
Ну, выходи, чего застыл?

И в смех. Дурочка.

Мы вместе полтора года. Ложимся в одну постель, как входим в густую полуночную воду, просыпаемся, едем в один институт. Она к переводчикам, а я – так, прогуливать пары. Но на фоне растающей в кожу привычки нет и тени той самой настоящей близости.

Мы поехали в Ялту в августе, накануне полного и окончательного разрыва, я – с предощущением беды, она... и тогда, и теперь я понятия не имею, что чувствовала она.

– ...и договорились по телефону, – улыбаясь, тараторила Лиза. – Нам оставили комнату. Можно взять такси или на троллейбусе... – и, не дожидаясь ответа: – Конечно на такси, я же тебя знаю. Вон, смотри, там!

Она вытянула наманикюренный пальчик в сторону пары «жигулей», пришвартованных к краю тротуара. Извозчики кучковались. Один из них отделился от группы и, покручивая брелок на указательном пальце, двинулся как будто бы даже не в нашу сторону, но четко – наперерез.

* * *

Почти каждое детское лето меня отправляли к родственникам в Сочи. Через три часа полета за кормой оказывалось

широченное пространство воды, самолет широким виражом разворачивался и заходил на посадку, аккуратно со стороны береговой полосы.

Как только шасси касались бетонки и в иллюминаторы врывалась бегущая лента зелени, в салон просачивался кипарисово-пальмовый прибрежный аромат. Казалось, самолет безнадежно протекал, стремительно теряя остатки московского воздуха, со всей дури погружаясь в пространство праздного удовольствия от одного только процесса дыхания.

Здесь, в Крыму, ничего подобного не случилось. Открылась дверь и... «Хорошо, да? Я же тебе говорила! А ты не хотел ехать! Ну, выходи, чего застыл?».

Мы постоянно не совпадали. Как кошатники и собаководы, как завсегдатаи «макдаков» и любители салата, как субтропики и Крым... Моими были субтропики. А Ялта была ее, потому, что потому. Потому, что это была Лиза.

* * *

Дорогу до Ялты я проспал. Во всяком случае, единственное, что помню о том путешествии – синий троллейбус на серпантине. И то не уверен, что это мне не приснилось. Нас довели почти до самого дома – двухэтажного, особенной южной архитектуры, с открытой верандой, на которой, дремал черный хозяйский щенок.

Хозяйка встретила нас на пороге, широко улыбаясь и, ви-

димом, по привычке вытирая руки о передник.

– А комната вас ждет, – сказала она с интонацией портье дешевого мотеля, и, миновав темный коридор, мы вошли в двенадцатиметровую кубическую клетку с известковыми стенами и узким окном, упирающимся в потолок. Обширный гербарий земной мебели был представлен боевым полутораспальным раскладывающимся креслом и тумбочкой, подле которой лежал выцветший кусок трофейного ковра. Но ни габариты комнаты, ни ее убранство не смутили ни меня, ни мою подругу. Как только за хозяйкой закрылась дверь, Лиза подошла ко мне вплотную и, улыбаясь с явным предвкушением задуманного, сказала: «Мы ведь здесь будем только спать и...» Я ощутил пряный запах ее тела с легкой шепоткой той цветочной французской дряни, которая делает аромат девичьего пота ароматом. Кресло распахнулось, будто выдохнуло «ну наконец-то!», и не скрипнуло ни разу, со странной стойкостью вынося внезапную нестабильность атмосферного давления.

После она переодевалась. Слегка растрепанная и неожиданно молчаливая. Я сидел на полу, смотрел в окно, в яркое ялтинское небо. Она оглянулась и шепотом спросила:

– Ты меня любишь?

* * *

Мы уже видели море – по дороге из Симферополя – и зна-

ли о его существовании. Оно было в той стороне, за домами. Можно было заблудиться в кривых самодельных улицах, что, кстати, мы и сделали, отправившись в тот же вечер гулять – и все равно знать, в какой стороне море. Оно было. Оно придавало смысл всему, что здесь находилось и происходило. Мы шли по вымощенному плиткой тротуару, рука в руке, радуясь свободе бродить по улице в шлепанцах и знанию о том, в какой стороне море. В католическом соборе, судя по афише, собирались давать концерт. Целый час до начала, но решили присоединиться, сделать круг, и, чтобы удержать направление, я иногда оглядывался на теряющийся в листве строгий римский крест.

Мы шли и болтали о разном. Но каждый словно сам с собой, будто каждая душа в каждой своей темной глубокой глубине поняла, что ничего уже не будет и чем это «ничего» аукнется, и бубнила, заговаривая будущую боль.

– Какой язык мне выбрать? – громко с невопросительной интонацией интересовалась Лиза у окружающего пространства, частью которого был я.

Со следующего года ей предстоял патч до версии «полиглот с тремя языками», и нужно было выбирать третий язык к имеющейся англо-русской паре. Немецкий, французский или испанский. Себе бы я посоветовал испанский, а этой рыбе, эмоциональной, но не воспламеняющейся, больше подошел бы немецкий с его их-либе-дих, которое можно сказать с чувством, смыслом и расстановкой перед тем, как

заняться образцово-показательным я-я-натюрлих-хер-нихт-ауф!

– ...немецкий? Почему немецкий? Я хочу испанский! Будем разговаривать с тобой на испанском дома, чтобы мама не понимала. Как будет на испанском «я тебя люблю»?

– Никак. Они говорят «тэ-кьеро». Это означает «я тебя хочу».

– Я знаю. Мой тигра меня хочет.

– И не на испанском, а по-испански.

– Можно и по-испански.

– Мы на концерт не опоздаем?

– Ой, смотри, там персики! Давай купим персик! Давай персик купиииим!!

– Ну, давай купим персик, – я уже морщусь, подхожу к фруктовому лотку с несколькими бойкими продавцами и бесформенной плавающей очередью, состоящей из отдыхающих разных мастей и степеней кислородного опьянения.

Лиза немного сзади держит меня за руку. Я чувствую себя отцом великовозрастного ребенка. И четыре человека впереди и мысль, что все это неправильно.

* * *

Первым моим воспоминанием был страх смерти, означающий неизбежное расставание с любимыми и продолжение существования в той части, которая уже не наполнена собы-

тиями. Там, в этом прошлом, мы живем в однокомнатной хрущевке. Ночь. Мама спит рядом. Мне семь месяцев. На стене тень кроны дерева, освещаемого уличными фонарями. Листья рисуют фигуры и лица. Интересный, но совершенно чужой мир, в котором я оказался по какой-то нелепой ошибке. И как они смеются, растягивая губы, и как они злы и завистливы, и как они землю готовы жрать, лишь бы у соседа не было лучше!..

Но ведь она, эта маленькая Лиза со мной. Да какая разница, что у нее в голове... Не оглядываясь, я взял ее за руку. Она как будто почувствовала мое состояние, ее пальцы неожиданно чутко отозвались – она слегка сжала мою ладонь. И это было так непривычно, как и тепло ее ладони, особое тепло – как же я мог не заметить этого в ней раньше?! – я держал за руку человека моей сущности, моей природы... И вдруг я увидел Лизу. Она стояла в десяти шагах от меня, отчаянно споря с продавцом арбузов. И тогда я оглянулся.

Та, чью руку я теперь больше всего на свете боялся отпустить, была рядом и смотрела в сторону и что-то говорила о сливах и яблоках, а за ее спиной стоял, озираясь по сторонам, ее парень, тот, кто, как она думала, нежно сжимает ее ладонь. Мне так показалось. Но она повернулась. Просто, без всякого «неожиданно», посмотрела на мою руку, и ничего не произошло. Мы так и остались стоять, держась друг за друга, незамеченные в толпе, уже глядя на яблоки, хурму и персики, застигнутые врасплох всем этим миром, дав-

шим нам возможность прикоснуться друг к другу всего лишь один раз.

Нигма



Его звали Нигма. Недели две тому назад Ван Палыч, шаря глазами по бараку в поисках, до кого бы докопаться, уставился в сутулую спину дохляка и рывкнул, видимо, силясь переорать нью-эйдж в бывших когда-то белыми наушниках студента: «Слышь! Дай послушать Энигму!». Все уже знали,

что слушает дохляк. «Энигму, говорю!» – повторил обернувшись Палыч и расхохотался. «Ну ты... Нигма!». Кликуха прижилась.

Дело было в августе прошлого года. Мы шабашили сборной бригадой разносольных нелюдей. Количеством – четыре с половиной. Матерый, далеко за сорок, Палыч, дохляк, двое тридцатипятилетних – это мы с Виталичем – и казах-бригадир неопределенного возраста, из местных, к которому каждое утро приходила жена с узелком огородной снеди – всякие там огурчики, помидорчики.

Дохляк не ныл и по-своему даже старался, но за цельнорабочего не канал. Толку от него было: принеси-подай. Строили похожий на ковчег, кривой от рождения коровник. Дело было в широком поле, с парой сел и узкой полоской реки у самого горизонта. Жили мы в ста метрах от стройки в мазанке, которую местные прозвали бараком. Мимо нас проходила пыльная проселочная дорога – от села к реке, почти два километра в обе стороны.

Был вечер того дня, когда сделанное – мы таки навесили пахнущие строганной доской ворота – начало обретать вполне очевидные очертания, и захотелось выпить. Развести костер и выпить. Под горячий запеченный картофан. Выпить и поточить лясы. И поорать песен. Если не дойдет до кулач-

ков, конечно.

Дохлак не пил и не дрался. Говорил, что ему восемнадцать, но выглядел мелким задротом с фантазиями. Пару раз я видел, как он прячет в нагрудный карман фото блондинки. Мне, да и всем остальным, думаю, была понятна причина, по которой он сбежал от мамкиных котлет с макаронами. Любофф, мать ее. Так я думал тогда.

Виталя, здоровенный детина двух с половиной метров от пяток до кучерявой дури в башке, и наш казахский бригадир Жумагали спорили – дала или не дала дохлику телка с фотки. На «Че скажешь?» я сказал «Таким не дают», и все со мной согласились.

Виталя с самого первого дня подвязался костровым. И сейчас на пепелище он всюю настругивал щепок для розжига, а я полез за водочкой в погребок – такой типа кротовой норы, прикрытой от двуногого зверья неприметной доской.

Палыч притащил из барака пять турковриков, раскидал их у кострища, приволок черное от копоти ведро с картошкой. Виталя высыпал картошку в центр угольного пятна, поставил над ней ведро вверх дном, обложил его остатками нашего деревянного зодчества – брусками, рейками, спилами досок. На манер лучин понатыкал приготовленных щепок и

поджег. Каждую отдельной спичкой.

Солнце коснулось тонкого горизонта, и мы естественным образом расположились около источника тепла, каждый пока еще со своим утеплителем: я с ног до головы в джинсе, Палыч с клетчатым пледом на плечах, Жума в выцветшем красном махровом халате, Нигма в рэперской толстовке с капюшоном, а Виталя обходился жаром пламени разгоревшего костра, пускающего снопы искр в темнеющую высоту.

– Ну что, Нигма, сколько балок сегодня положил? – завел любимую телегу Палыч.

– Виталя, картофан не сгорит? – я расставил на куске клеенки, расстеленной на земле, пластиковые стаканы, наломал большими лохматыми ломтями свежий хлеб, располовинил похожим на мачете охотничьим ножом помидоры, вынул из целлофанового пакета вымытый пучок зеленого лука.

– Все нормально с картофаном и с рыбой, – отозвался гигант.

– С рыбой?

– Пацан на велике из Ромашково. Купил, короче. Сомик. В глину – и в угольки. Ща будет.

– Рыба – это хорошо! Да, Нигма? Ну, так что там с балками?

Виталя полез ковырять веткой костер с самого краю, где

огонь, уже расквартированный по древесным углям, жил разнообразными мерцающими жизнями, раскопал бурый кусок спекшейся глины, отшвырнул его ногой от кострища, присел рядом на корты и посмотрел на меня:

– Куда ложить?

– Не ложить, а класть, Виталич!

Главным в нашей бригаде, по идее, должен был быть Жумагали – наш бригадир. Но почему-то не был. Несмотря на то, что я приехал на точку последним и не особо разбирался в строительстве, постоянно слышал «Чё думаешь?», «Куда ставить?», «Как крепить?» и вынужден был жить с некоторым напрягом в голове. Получался какой-то замкнутый круг.

– Да накласть. Кому надо, Андрон, тот пусть и кладет, а я буду ложить!

В физическом смысле Виталию бог не обидел. Он был полон здоровьем в каждой оконечности своего могучего тела. От того улыбка его казалась и доброй, и хищной одновременно.

– Вот вы не правы, Виталий, нужно уважать язык, на котором говоришь, – попытался поддержать меня Нигма.

– А ты куда лезешь, студент? Ты, типа, философ? – вме-

шался Палыч.

– Слышь, Палыч, отзынь от него, – Виталя добродушно, но не без нажима глянул на Палыча.

– А я че? Слышь,дохлый, чем твой язык лучше этого? – Палыч показал дохляку язык и заржал. – Ты че, добрее стал от твоего «кладешь»? Вчера не ты мыша лопатой располовинил? В бараке. А чего он тебе сделал? Это ж рецидив, а, студент? Ты сам за свободу споришь. А мыша свободы лишил и жизни. Как так, а?

– Она мне мешала спать.

– Вот ведь, сука, какая неудобная мышь попалась. Ты же доктор, студент. Спасать должен, а на деле мокрушник. Интеллигент, сука! Как так? А? Виталь! Учить таких надо!

– Кого надо, того пусть и учат, а ты нашего не трогай. Какой ни есть, всяко наш, – сказал Виталич.

Я посмотрел на дохляка. Нигма опустил голову.

– Жарайды! – вмешался Жумагали, – Андрон-джан, наливай пожалуйста.

– Ща. Пускай Виталич победит закусон, и вздрогнем, – я с улыбкой кивнул на Виталию, который очищал от раскаленной глины рыбу, давясь слюной, обжигаясь, но не отступая. – Виталич, ты бы и картофан достал, чтобы не дергаться уже...

– А я вот подумал... – Виталя передал мне разделанную рыбу и полез вытягивать из костра ведро. – Зло живет в че-

ловеке. Как болезнь какая.

– Давай, Андрюх, плесни по граммулке за добро для аппетита, – оскалился Палыч. – Студенту тож. А то он от злобы народ жрать начнет.

Все заржали. Нигма зыркнул на Палыча, и, будто решившись, бодро повернулся ко мне:

– А давайте! – схватил и подставил стакан.

– Охолопись, молодежь. Терпение – добродетель, – ответил я, заканчивая с сервировкой. – Что ты там говорил про зло, Виталя?

– Зло внутри человека. Ждет момента и гадит человеку, чтобы он его выпустил. Шепчет в ухо – у тебя нет бабы, нет машины... Или бабла. Собачит с дружбанами. Вот и бухаешь от зла. До нитки. А человек-то хороший.

– Бабла нет – это общее зло, Виталя. Если бы все так просто... По-твоему, зло – это что-то отдельное от человека?

– Я не знаю. Вон Жума не богаче курицы, а счастливый. Поет. С птицами базарит.

Виталя уже справился с ведром, умудрившись при этом не разрушить костер. Картошка лежала дымящейся горкой рядом с бутылкой водки, аппетитно дополняя остальной закусон.

– Ақымақ емес, – улыбнулся Жума. Он был очень доволен

возможностью свободно высказываться по любому поводу, не подозревая о том, что я вырос в Казахстане и прекрасно понимаю его язык.

Я разлил по стаканам. Под линейчку, как положено. Подняли.

– Ну! За ворота! – выдохнул Палыч.

Опрокинули.

– А вот ты, по-моему, не злой, Виталич, а очень даже добрый, – улыбнулся я.

Виталия вытер руки мятым куском газеты, скомкал его окончательно, зашвырнул навесиком в пламя и уселся рядом со мной.

– Не злой я, Андрюх. Давай по второй.

Я налил. Опрокинули без тоста. Все, кроме бригадира, смотрели на освещаемое костром лицо Виталия. Виталич молчал.

– Ну, у всего есть причина, – сказал я, и, видимо, это была та самая ключевая фраза, которая вкупе с двумя стаканами

водяры должна была разблокировать в башке дохляка героя. Потому что он как-то сразу встал, секунды две жестикулировал, типа обращаясь ко мне, и уж потом, разогнавшись таким образом, выпалил:

– Какая нахер причина? Что вы несете? Что вы вообще знаете про добро и зло? Вы сами во всем виноваты. Нет никакого зла. Как стадо баранов! Всему найдете оправдание!

– Ой, мля! Затарахтела тарактелка... – Палыч поднялся, сделал шаг к Нигме, но тот обернулся: – Отвали от меня нахрен!

На что Палыч вдохновенно вскинулся, это уже была его территория.

– Ты че, олень? – зашипел он. – Ты кого тут кружить собрался, чепушила? Ты у меня, пес, петухом запоешь!

Студент схватил здоровенный дрын, валявшийся у его ног, шагнул вперед и выдавил с тупой яростью:

– Пошел ты! Ненавижу!

– Ну, давай, – Палыч раскинул руки. – Тебе ж не впервой! А, малыш?

– Да вы че? – Я вскочил. – Завязывай, Палыч! А ты сядь!

Для меня было странным, что ни Жумагали, ни Виталич не впряглись за дохлика, просто остались сидеть как сидели. Студент опустил дрын и пошел прочь от костра. Палыч некоторое время смотрел на темную удаляющуюся фигуру, а потом сказал, не поворачивая головы:

– Ты нихера не знаешь?

– Чего не знаю?

В наступившей тишине было слышно, как трещит костер, а Жумагали вполголоса поет старую песню про Бекежана и Кыз-жибек.

– Не надо, Палыч, – сказал Виталья.

– А че не надо?! Да задолбало! – Палыч повернулся ко мне. – Короче. За неделю до твоего приезда к этому уроду приезжал дружбан, уговаривал вернуться к евонной бабе. Она крутанула хвостом, типа, ну, и он психанул, свалил короче. Как сюда попал, не знаю, – Палыч замолчал. – Ну, короче... Сели посидеть, выпили нормально так. Потрещали. Мы за баб, они за политику. Типа, Крым – не Крым. Бригадир и Виталья спать пошли, а я еще тут был. Дружбан его мозговитый попался, ну и заспорили они. Культурно так, вроде.

Палыч налил всем водки. Выпил и устался в темноту.

– Ну? – не выдержал я.

– А че ну? Вон он, там, за тем холмом и лежит... Да не, шутю. Студент вскинулся на ровняке, орать стал, типа, гореть вам в аду, вертухаям. Как епнутый. А потом вот этим дрыном его враз и ушатал. Одним ударом по куполу. Схватил «Нннааа, сука», – и нет парня. Ушел. Еле откачали. А ты говоришь... Потом сопли жевал. Типа – была причина. А какая нахер причина? Сидели, ровно базарили. Я не понимаю! Если бы я не вписался, он бы его замочил, ей-богу. Такие, сука, интеллигентские базары...

Было и смешно и мерзко. Я сказал:

– Ну, нет зверя страшнее человека.

– Достал он меня. Смотрит, как на врага народа, сучонок. Дай такому ствол – любого несогласного положит. Ладно, я спать. – Палыч поднялся. – Виталя, туши костер, завтра много работы. Жума уснул, что ли? Не трогай его, пусть спит. Плед на него накинь.

Палыч стянул с себя плед и протянул мне:

– Замерзнет – придет.



Я проснулся от женского крика. Некоторое время лежал в сумерках, пытаюсь понять – кричали во сне или наяву. Виталья и Палыч еще спали. На всякий случай я вышел на улицу.

Было раннее утро. Я сразу увидел жену бригадира. Она сидела над Жумагали, который лежал у кострища на своей пенке с перерезанным горлом. Я кинулся в барак. Опрокинул стул, увидел, как Виталя повернул голову, просыпаясь, и пошел к кровати Палыча. Он был накрыт одеялом. Обычно он так и спал, укрывшись с головой. Я до жути испугался своего предчувствия. Как же я хотел ошибиться, но буквально влип в черную лужу крови, собравшуюся под его кроватью. Я потянул одеяло и увидел надрез на его шее.

Вещей дохляка не было, как и его самого. Я позвонил в село, там кинулись искать участкового.

Мы с Виталичем решили идти в сельсовет сами. В этом не было никакой необходимости, но возвращаться в барак не хотелось. У меня было физическое ощущение присутствия того самого зла, вышедшего наружу, о котором накануне говорил Виталя.

Мы вышли на пыльную дорогу. Солнце едва взошло над горизонтом, нагревая свежий, остывший за ночь воздух. Но идти было невероятно трудно. Как во сне, когда нужно бежать, а не можешь и вязнешь, и ощущение ужаса сменяется смирением и желанием опуститься в дорожную пыль и ни о чем не думать, ничего не бояться.

Иллюзия тишины



Если бы в каком-нибудь реестре стандартов и эталонов, где-нибудь между процентным содержанием меди в афинской бронзе и количеством половозрелых особей в популяции малайского мелкоуха, существовал бы показатель сложности человеческой природы, этот экземпляр был бы образ-

цом наивысшей степени замороченности. Образец был человеком женского пола, высохшим до парадоксального отсутствия плоти на стройной костной основе. Человека звали Виолеттой.

Виолетта была частью однокомнатной квартиры с раскладушкой, комодом и полудохлым попугайчиком, жившем в металлической клетке на поросшем дремучей грязью подоконнике. Странность или особенность Виолетты заключалась в ее способности уходить в себя так далеко, как это только возможно для остающегося в теле и сознании. Она хваталась за произнесенную или вычитанную мысль и уносилась прочь от реальности, незаметно для самой себя перемещаясь в вырастающую в ее воображении логическую геометрию, похожую, как мне казалось, на один из многочисленных объемных фракталов Эшера. Докричаться до нее не было никакой возможности. Приходилось делать то, чего она терпеть не могла, то, что на нее действовало как удар током – я касался ее лица.

* * *

Помню, что вписала меня к ней хорошенькая безымянная блондинка с фенечкой на левом запястье. Была она из тусовки доморощенных хиппи – цветов жизни алма-атинского разлива – растаманов, бардов и сильнопьющих не принци-

пиальных в смысле секса поэтессок.

Я спал на матрасе у стены с балконной дверью под широким незашторенным окном в глубокое зимнее небо, стараясь не обращать внимания на вялое чириканье Перикла Четвертого, готовящегося, судя по виду и интонациям, разделить судьбу трех своих одноименных предшественников. Раскладушка Виолетты стояла напротив. Она спала в широченной для ее комплекции ночной байковой рубаше, подложив под щеку ладошку, позволяя себе ненадолго стать такой, какой в сущности и была – слабой, маленькой, вздрагивающей при малейшем шуме, сбежавшей в детстве из дома по глупости, заблудившейся и оставшейся здесь – в этой найденной во сне квартире, на этой раскладушке, поскрипывающей пружинами как дирижабль, выплывающий из ангара.

Я жил у нее неделю – с воскресенья по воскресенье. За эти семь дней мы ни разу толком не поговорили. Днем я кружил по городу, завершая дела перед окончательным переездом в Москву, а вечерами читал купленную накануне мрачную путанную историю одного французского землемера. С каждой прочитанной главой жизнь казалась безнадежней и бессмысленней. А Виолетта гремела посудой, шелестела журналами, шумела водой, и все это, как мне казалось, делала нарочито громко.

В субботу вечером пришли гости – невысокий молодой человек лет двадцати и его собака. Входная дверь распахнулась, в прихожую скакнул болтающий обрубком хвоста эрдельтерьер, и Виолетта весело затянула: «Ильи-и-и-и-н!» Человек обнял Виолетту, зашуршал курткой, шепотом спросил, заметив меня: «Кто это?» Виолетта ответила: «Свои» и, обращаясь ко мне, громко сказала: «Андрей, знакомьтесь. Это Ильин». Ильин быстро разулся, шагнул в комнату, на ходу протягивая мне руку: «Вадим. Мы ненадолго», и псине, уже успевшей меня обнюхать: «Альма, фу!» Альма отошла, улеглась на пол, демонстративно повернувшись ко мне задом.

Виолетта пошла в кухню заваривать чай, а Ильин уселся рядом с собакой.

– Как там все наши? – спросила из кухни Виолетта. – Идите сюда. Мне одной скучно.

«В кои-то веки?» – подумал я, но в кухню пошел, не без опаски пропуская вперед Альму, решившую к нам присоединиться.

На кухне пахло газом. На плите шумел чайник. Встав на носочки, Виолетта доставала со средней полки кухонного шкафа две одинаковые белые керамические чашки. Третья уже стояла на столе. Мы с Ильиным заняли оба старинных

стула с гнутыми деревянными спинками.

– Ты Светку видел? – Виолетта повернулась к Ильину и на секунду замерла в ожидании ответа на свой вопрос.

– Видел, – ответил Ильин с явной неохотой продолжать какой-то прерванный прежде разговор.

– Ну? – Виолетта поставила чашки на стол и потянулась за сахарницей.

Ильин не ответил.

– Слушай, а ты откуда? – спросил он меня. – Пойдешь завтра на концерт «Сталкера»?

– Я завтра уезжаю, – сказал я. – Самолет вечером, в пол-восьмого.

Ко мне подошла Альма и положила голову на колено. Я поджал губы.

– Ну как знаешь... Да она не кусает, – Ильин потрепал Альму за загривок. – Это она так знакомится. Не обращай внимания. Далеко летишь?

– В Москву. Переезжаю. Насовсем.

– Клево. К родственникам?

– Нет. Поступил в Литературный институт на заочку. Хочу переводиться. На очное отделение.

– А что пишешь?

– Ну так... Всего понемногу, – ответил я.

– Стихи? – не унимался Ильин.

– Ну и их тоже, – улыбнулся я.

– Зачтёшь?

– Ну... – честно говоря, я не был готов вот так с ходу декламировать здесь, на этой кухне.

– Но сначала дунем, – перебил меня Ильин. – Дунем? Витка, ты как?

– Ты с ней разговаривал? – Виолетта сняла с плиты засветивший чайник.

– Давай потом, – махнул рукой Ильин, – Человек уезжает завтра, а ты... Успеется...

– Ну-ну... – Виолетта налила кипяток в заварник, достала из холодильника литровую банку с молоком.

– Как будешь пить? По-русски или по-казахски? – спросила она меня.

– Наливай ему по-казахски. В Москве чай пить не умеют. Прикинь, они там чай сырой водой разбавляют! Дикае люди! – Ильин постучал пальцем по лбу, пододвинул к себе пепельницу, полез в карман, вытащил помятую коробку «Беломора», щелчком выбил папиросину и принялся, сминая курку большим и указательным пальцами, ссыпать табак. В пепельнице образовался десятимиллиметровый курган.

– А вы знаете, что сигаретные фабрики во время войны переводят на выпуск патронов? Видите, калибр такой же. Это специально сделано, – Ильин показал нам пустую бумажную гильзу, положил ее аккуратно на стол, вытащил из кармана спичечный коробок, щепотью достал из него немного травы, положил в середину ладони левой руки, подхватил правой бумажную гильзу и принялся ловко ее набивать. Тра-

вы хватило в аккурат под самый кончик, который Ильин закрутил двумя пальцами в конус.

– Взрывавай, – протянул он мне папиросу.

* * *

– Эй, ты с нами? – Ильин дернул Виолетту за носок, но она не отреагировала.

Мы с ней сидели на полу в комнате, она – с закрытыми глазами, я – в состоянии полуобморочного удовольствия от самой возможности вот так вот просто сидеть на полу и ни о чем не думать. Ильин лежал тут же, у наших ног, пользуясь Альму в качестве подушки.

– Ну как всегда по накурке. Ушла. Можно в уши орать. Ноль!

– Не только по накурке, – сказал я, – Она еще так читает. Прочтет абзац и уходит. Нужно вот как...

Я придвинулся к Виолетте, протянул руку и дотронулся до ее щеки. Она вскрикнула как от ожога и тут же открыла глаза.

– Виолетта... Ты меня слышишь? – позвал я.

Виолетта повернула ко мне голову:

– Конечно слышу, – медленно произнесла она, – Идиот...

Сколько раз я просила так не делать... Я в порядке.

– Минуту назад нам так не казалось. Да, Вадим?

– Минуту назад вас с Вадимом тут не было.

– Разве? – я посмотрел на Ильина.

– Ну что ты, Виточка. Это же мы, – подхватил Ильин и вяло махнул Виолетте шестипалой рукой.

– Ты должен был с ней поговорить. – Виолетта, вытянула в его сторону указательный палец, ставший вдруг неестественно длинным и острым.

Я зажмурился, встряхнул головой и когда открыл глаза, все стало снова обыкновенным – Ильин, Виолетта и ее палец.

– Ты хотел почитать, – сказал мне Ильин, не обращая внимания на Виолетту.

– Что почитать?

– Стихи, – весело сказал Ильин.

– Стихи? – спросил я почему-то у Альмы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.